

[186]

В ПОИСКАХ ПРАВДЫ ЖИЗНИ

Смелые мысли играют роль передовых шашек в игре; они гибнут, но обеспечивают победу.

Гёте

Об уме человека легче судить по его вопросам, чем по его ответам.

Гастон де Левис

Шестилетнее пребывание в Москве как бы завершало самообразование Татищева, хотя сам он считал этот процесс бесконечным. Здесь он сталкивался со всеми мыслящими людьми эпохи, имел доступ ко всем лучшим книжным собраниям. Близость к верхам общества заставляла его искать решения, практически осуществимые, а участие в сложной политической борьбе и неприятности по службе побуждали больше размышлять и об общественном устройстве, и о природе человеческой.

В 1733 году Татищев в основном завершил свой важнейший философский труд «Разговор двух приятелей о пользе наук и училищ». «Разговор» выполнен в форме вопросов и ответов. В основе его лежат споры с Сергеем Долгоруким, дополненные затем дискуссиями с Феофаном Прокоповичем, Алексеем Черкасским и профессорами из Академии наук. Князь Долгорукий — это, видимо, брат антагониста Татищева, Алексея Григорьевича. Он вернулся в конце 1729 года из Польши и затем разделил печальную судьбу своих родичей. С конца 20-х годов, очевидно, Татищев и писал этот свой труд.

«Пользу» наук в это время необходимо было еще доказывать. Положение в обществе определялось не личными способностями и знаниями, а происхождением, наследственными владениями и связями того или иного лица. Всякий мог привести примеры того, что «неученые в великом благополучии, богатстве и славе, а ученые в несчастии и презрении находятся». И Татищев с этим [187] согласен. Он лишь полагает, что неученый в жажде богатства и почестей всегда неудовлетворен, тогда как ученый «совестию спокоен», а знания для него «равно как бы он вся земли владетель был».

Обычно и в теории и в практике главным мерилom для Татищева являлась «общая польза». В данном случае он к той же идее подходит с позиций личности. Человек был поставлен в центр мироздания эпохой Возрождения. Реформация от этого принципа отступила. Но в теории «естественного закона» он получил дальнейшее развитие.

С точки зрения истории философии теория естественного закона являлась классическим выражением метафизики. Его теоретики не осознавали развития основополагающих элементов системы. Но естественный закон пришел на смену божественному. Это была необходимая форма освобождения светского знания от схоластики, своеобразная пропаганда того способа мышления, который привносил с собой ранний капитализм. В России хорошо знали труд С. Пуфендорфа (1632—1694) «О должности человека и гражданина по закону естественному», переведенный на русский язык Гавриилом Бужинским. Наиболее образованные мыслители и администраторы знали также и другие сочинения эпохи раннего просветительства. Татищев, в частности, ссылается на немецкого философа Христиана Вольфа (1679—1754), который одно время собирался переехать в Россию. В «Разговоре» активно используется также «философский словарь» другого немецкого философа И.Г. Вальха (1656—1722), имевшийся в библиотеке Татищева. Популярность естественного закона

во всех науках конца XVII — начала XVIII века делала почти неизбежным обращение к нему всех авторов, претендовавших на «современность». Но при этом возникал весьма широкий спектр мало похожих друг на друга представлений. Естественный закон постоянно упоминается, например, в рассуждениях архиепископа Феофана Прокоповича. Но Татищев идет не от Прокоповича, а от более светского понимания сущности этого закона.

Теории естественного закона не были ни материалистическими, ни идеалистическими. Но они не закрывали пути ни к тому, ни к другому. Прокопович принимал идеалистическую их трактовку. Он пытался использовать естествознание для доказательства существования бога. [188] Как духовное лицо Прокопович и не мог идти дальше. Да вряд ли он и намеревался это делать. Очевидно, некоторые темы и особенности их освещения в рассуждениях Татищева навеяны именно спорами с Прокоповичем. И в оттенках являются существенные расхождения.

Теории естественного закона не порывали с библейской легендой о сотворении мира. Для Прокоповича критериями истины в равной мере были и Библия и опыт. И Татищев верит, что человек состоит «из вечного и временного, то есть души и тела». Однако он не хочет «отягощать» собеседника этими предметами. Важнее знать, что человеку «полезно и нужно и что вредно», то есть познать «добро и зло».

Библия как критерий истины Татищеву явно мешает. Грех Адама, по Библии, и заключался в стремлении познать добро и зло. Татищев настаивает на том, что «не слова, но разность состояния и следствия разуметь должно», то есть надо истолковывать не выражения Библии, а те обстоятельства, которые там описаны. Так, Адаму можно было и не знать зла, поскольку его еще не было в природе. Теперь же человек обязан учиться, чтобы избавиться от него.

Много лет за Татищевым тянулся шлейф подозрений в еретичестве и неверии. В 1714 году в Лубнах Татищев настоял перед фельдмаршалом Шереметевым на освобождении приговоренной к сожжению «колдуньи», чем мог напугать окружение фельдмаршала едва ли не более, нежели самым изощренным ведовством. Выше приводилась придворная сплетня о реакции Петра I на вольнодумство Татищева, упоминалось о наговорах Родышевского. Весьма резкий характер принимали и столкновения его на этой почве с Прокоповичем. Татищев стремился снизить значение Священного писания как средства познания мира. Прокопович вставал на защиту «богодуховенности» Библии.

Об одном характерном столкновении рассказывает сам Прокопович. Речь коснулась библейской «Песни песней». Татищев, «поворотя лицо свое в сторону, ругательно усмехнулся», «поникнув очи в землю с молчанием и перстами в стол долбя, претворный вид на себя показывал». Заподозрив сомнение, Прокопович поставил вопрос: что ему на ум пришло? Татищев решился высказаться откровенно: «Давно... удивлялся я, чем [189] понужденные не токмо простые невежи, но и сильно ученые мужи возмечтали, что Песнь песней есть книга Священного писания и слова божия? А по всему видно, что Соломон, разжизася похотию к невесте своей, царевне египетской, сия писал, как то у прочих, любовью зжимых, обычай есть, понеже любовь есть страсть многоречивая и молчания не терпящая, чего ради во всяком народе ни о чем ином так многия песни не слышатся, как о плотских любезностях».

Прокопович признает, что он не нашелся, что возразить Татищеву. Он лишь пообещал написать трактат, что некоторое время спустя и выполнил. Написанный незадолго до событий 1730 года трактат носил недвусмысленное название: «Рассуждение о книге Соломоновой, нарицаемой Песнь песней, яко она есть не человеческого, но духа святого вдохновением, написана от Соломона, и яко не плотский в ней разум, но духовный и божественный заключается, против неискусных и малоразсудных мудрецов легко о книге сей спомышляющих». Никаких

иных «малоразсудных мудрецов», кроме Татищева, в числе оппонентов Прокоповича, очевидно, и не было. Но крепкие выражения, конечно, не могли заменить действительных доказательств, и если в чем-то и мог трактат убедить Татищева, то это в том, что нужно быть осторожным в выражении своих сомнений. Тем не менее позднее, в «Лексиконе», Татищев открыто настаивает на том, что «в делах философских или естественных не потребно никакое от письма доказательство, зане оно само собою, то есть природными обстоятельствами, у твердиться должно».

В «Разговоре» Татищев находит такой поворот, который позволяет ему избавиться от необходимости обращения к Библии, не ставя себя самого под непосредственный удар ревнителей правоверия. Теория естественного закона предполагает деизм в истолковании вопросов веры: бог признается в качестве первотолчка, но затем естественные законы действуют независимо от него. С естественным законом сосуществует и письменный «божеский» закон, отраженный в Библии. Но божественный закон дошел не непосредственно, а через пророков, то есть людей. Люди же сами подвержены влиянию естественного закона и естественных побуждений. Поэтому-то необходимо согласовывать их понимание «слова божия» с тем, что вытекает непосредственно из естественного закона. В итоге [190] естественный закон становится критерием истины и для библейских текстов. «Церковный» же закон, разработанный «властолюбивым» и «сребролюбивым» духовенством, и вообще лишается какого-либо самостоятельного значения и нуждается в строгой проверке с точки зрения соответствия его естественному и божественному законам.

Постановка естественного закона во главу угла и в оценках, и в процессе познания неизбежно толкала Татищева от деизма к пантеизму — учению, растворявшему бога в природе и являвшемуся одной из форм материализма в эту эпоху. Так, говоря о зарождении зла, Татищев упоминает и понятное собеседнику «преступление» Адама, и, очевидно, более кажущееся ему самому достоверным «повреждение природы». Очень часто ему приходится останавливать себя именно там, где разногласия божественного закона с естественным нельзя устранить без явного ущерба для первого.

Вразрез с богословской традицией Татищев отказывается обсуждать вопрос о происхождении души и ее местопребывании. По его заключению, вопрос этот «можно положить за неведомый или непостижимый, зане славнейшие древние и новые философы, а особливо Невтон и Лейбниц решить отrekliся». Элемент агностицизма в данном случае служит средством уклонения от схоластического спора. Но он подводит собеседника к мысли о тесном взаимодействии души и тела.

Ум и воля традиционно признавались неизменными свойствами души, что исключало возможность их совершенствования. Татищев же напоминает, что древние философы волю и страсти относили к качествам телесным, то есть материальным. В итоге ум «яко царь властвует, а воля влечет на всякое хотение». И человеку нужно «прилежать, чтоб ум над волей властвовал».

Воля выражается в естественных стремлениях человека: любочестии, любоимении и плотоугодии. Качества эти жизненно необходимы. Но они уподобятся лошади без узды, если не будут направляться умом. Честолюбие предохраняет от дурных поступков. Но чрезмерные гордость и властолюбие могут к ним повести. Любоимение побуждает к трудолюбию и бережливости. Стремление же к роскоши может оказаться губительным. Плотоугодие обеспечивает и сохранение жизни, и ее продолжение в потомстве. Аскетическое «умаление» естественных стремлений вопреки христианскому идеалу Татищев находит [191] вредным. Он предостерегает, чтобы «сии слова какому пустосвяту или паче суеверному ханже... на зубы не попались, каковые по их злой природе яко пауки и от доброго цветка яд произносить обыкли». Ветхозаветному «Закону письменному» он противопоставляет

наставление апостола Павла, который «воспрещение брака учением бесовским именует». Продолжение рода, по Татищеву, обязанность человека. О вреде же «избыточественного к женам любления» каждому «довольно известно»,

Подобным образом оценивает Татищев и требование соблюдать посты. Он в равной мере осуждает «избыточество и недостаток». Любое полезное дело превращается в свою противоположность при утрате чувства меры. «Все внутренние болезни, — полагает Татищев, — ни от чего иного как объедения происходят». Врачи свидетельствуют, что «тысяча раз более от избытка пищи и питья употреблением сами себя убивают», чем умирают от голода. Человек должен знать, что полезно и что вредно для его организма, и этим знаниям следовать. «Изнурение постом» может превратиться в социально опасное дело, когда от него страдают лица, ответственные за судьбу других людей.

Показав «телесную» основу воли человека, Татищев с той же мерой подходит и к другому признаку «души» — уму. Память, смысл и суждение признавались врожденными и в рамках естественного закона. Татищев взывает к здравому смыслу собеседника: всем очевидно, что разные люди обладают названными качествами в различной степени. И это потому, что «наши члены от частого употребления к действию обыкают». И подобно тому, как обретают «способности» «внешние члены», должны совершенствоваться и «внутренние». «Частое употребление» или обучение способствует «внятному понятию, твердой памяти, скородвижному смыслу и порядочному суждению». Иными словами, формальное признание существования бессмертной души не мешает убеждению, что реальное проявление ее свойств вполне материально и управляется материальными же законами.

Связь обучения с материальной сущностью организма доказывается и восприимчивостью к обучению животных, у которых духовной сущности богословами вообще не предполагается. Правда, этот аргумент можно повернуть и в другую сторону: животные и «без всякого научения благополучны». Но животного оберегает изначальная [192] приспособленность к внешней среде. Наиболее же разумное из творений - человек - такой защиты лишен. «Ежели б не помощь других людей жизнь его содержала, - заключает Татищев, - тоб, конечно, смерть купно с началом живота являлась». И в этом, оказывается, заложен большой смысл: дабы человек «помощь ближнего всегда полезно и нужною почитал, и для того любовь взаимно показывать тщился, сам наиболее, нежели оные о своем благополучии прилежал». Поскольку природа не дала человеку естественной защиты, он должен выработать ее сам во взаимодействии с другими людьми.

Жизнь человека, переходит Татищев к другой теме «Разговора», составляется из младенчества, юности, мужества и старости. И на каждом отрезке человеку необходимо учиться. Младенчество — это время почти полной его беспомощности, и потому сплошной период обучения. «Воля к благополучию» у младенца ограничивается желанием есть, пить, спать, играть. Но он любопытен: «о всем спрашивает и знать хочет». Этот естественный интерес необходимо использовать «к научению легких наук, о котором не много думать надобно». Хорошо, например, усваиваются в этом возрасте языки.

Опасности подстерегают человека и в юности. Юноша «за наивысшее благополучие почитает» «музыку, танцевание, гуляние, беседы, любовь женскую, любодейство». Без совета старших он может наделать немало глупостей. Вместе с тем в этом возрасте доступны многие науки, требующие «разсуждения».

В пору мужества (от двадцати пяти до пятидесяти лет) человек наконец овладевает «совершенным смыслом и догадкой», а также «довольством разсуждений». Тогда ж у него является страсть «любочестия», появятся славолубие, храбрость и мужество. Из этих естественных качеств проистекает и жажда власти, презрение к другим, стремление поставить себя выше других. Дела теперь

совершаются по всестороннему «разсуждению» и «совету». «Собственное искусство» совершенствуется в ходе обучения и общения с другими людьми, от которых необходимо постоянно принимать советы.

В старости стремление к роскоши и любочестию уступает место любоимению, которое грозит превратиться в стяжательство и сребролюбие. В этом возрасте особенно важно «чтение законных и гисторических книг», где [193] «разные наставления и примеры в научение себе находим». В итоге — «человеку нужно век жить, век и учиться». «Человеку ученье свет, а неученье тьма есть», — заключает Татищев.

Библейская история «рай» на земле оставляла в прошлом. О «золотом веке» далекого прошлого говорили и древние поэты. Скептическому собеседнику эти представления кажутся фактами, и он видит в них доказательство отсутствия связи между благополучием и учением. В ответ на это Татищев отвергает уже не отдельные сюжеты Библии, а ее историческую концепцию в целом.

В духе естественного закона развитие человечества Татищев рассматривает как нечто цельное, проходящее те же этапы, что и отдельный человек. В разных формах такое представление будет держаться вплоть до XX столетия (например, у одного из приверженцев позитивизма, Г. Спенсера). У Татищева оно имеет определенное своеобразие, навеянное духом Просвещения. По Татищеву, младенчество — это время «до обретения письма», юность — с «пришествия и учения Христова», «мужеский стан» — с «обретения-тиснения книг», то есть книгопечатания. Развитие и распространение просвещения, в рамки которого вводится и христианское вероучение, является показателем восхождения к истине и благополучию.

Татищев соглашается с тем, что младенчество человечества начиналось в условиях непосредственного общения человека с богом. Но человек не становился от этого лучше, так как не было письменности, посредством которой можно было бы закрепить положительный опыт предшествующих поколений. Из-за отсутствия письменности «мало им такое наставление помогало, и большая часть ослепяся буйством в невежество суеверия впали, сквернодейства и свирепости, якоже прочил самим вредительные обстоятельства и поступки за благополучие и пользу почитали».

Согласно церковным книгам «в те времена только святых отцов и праведных мужей было, что ныне и в тысячу лет столько видеть не можем». Но такое представление, по Татищеву, возникает из-за несоизмеримости сходных явлений в разные эпохи. «Как в темноте нам малая искра более видима, нежели в светлое время великий огонь», или «яко во младенцы малое что-либо умное видим, с удивлением хвалим, а в возрастном то же самое или [194] гораздо лучшее уничтожаем», так и «о тогдашних мужах пред нынешними гораздо более удивляемся и их поступки похваляем». У первых людей еще и не было особых причин совершать зло. Однако они его совершали. Бог был бессилен предотвратить развитие дурных наклонностей, заложенных в человеческой природе. Лишь с началом письменности положение улучшается. А за первые триста лет христианства «1000 раз более, нежели от начала света, благочестивых мужей явилось». Как и все ранние просветители, Татищев полагал, что письменность сама по себе уже служит добру, а не злу, а противодействие мракобесов распространению просвещения как бы подтверждало правильность этого убеждения.

Первоначально «истинная вера» была открыта — согласно Библии — одному еврейскому народу. Но он не стремился ей следовать. «Как злость и убийство природное в них когда воспреимуществовало, ...наконец же в такое заблуждение пришли, что в законах человеческого оного и не видеть было». «Великой переменой» явилось изобретение письменности. В разных местах появились люди, которые стали «законы сочинять». Книги доносили потомкам опыт предшествующих поколений и народов. Искоренению пороков препятствовало лишь язычество. Борцов же против него

осуждали как атеистов и еретиков.

Имена древних мыслителей ко второй четверти XVIII века уже стали привычными для образованной прослойки русского общества. Они постоянно упоминались в сочинениях, излагавших разные стороны естественного закона и права, в философских курсах духовных училищ. Постоянно присутствуют они в трактатах Феофана Прокоповича и Антиоха Кантемира. Но у Татищева все это получает существенно иное освещение.

Прокопович склонен был решительно отвергать все, что могло рассматриваться как подрывающее основы веры. На этом основании он учение Эпикура третировал как абсурдное и безбожное. По тем же причинам и А. Кантемир считал «слабыми в своих смятениях» всех «философов эпикуровской секты». Татищев находит иной угол зрения, позволяющий ему как бы уклониться от высказывания по тому вопросу философии, который уже вставал как «основной», и в то же время взять под защиту мыслителей прошлого, в частности, и от нападков со стороны своих ближайших собеседников. По Татищеву, служители [195] культа исстари являлись обманщиками, вводившими в заблуждение «простой народ». Им извечно противостоит наука. Пифагор, Эзоп, Сократ, Платон, Эпикур с помощью науки или нравоучений стремились удержать людей от зла и наставить на добро. Но «по неразумности людей вместо благодарения имя афеистов получили и от многих проклинаемы были, а Сократ принужден, отраву выпив, умереть». Просвещение, борьба со злом — вот высшая истина. И этой истине следовали древние мыслители.

В атеизме обвинялись и некоторые другие мыслители древности. Татищев называет Ксенократа, Диогора, Феодора Киренаика, Анаксимандра. Однако и в этом случае обвинение не может быть принято, «понеже их собственных книг не осталось, остались токмо те изъятия, которые пишущие против них показывают, и для того оно за истину принять не можно». Направленность такой аргументации очевидна: Татищев на стороне тех, кого обвиняют в атеизме. «И ныне, — намекает он на некоторые обвинения в собственный адрес, — многие противу других пишущие по злобе не сполна речи противников своих берут, и доказательства или изъяснения утаивают и такс неповинно клеветуют».

Для обвинений в атеизме Татищев вообще не видит оснований. Язычники верят во многих богов. Поэтому они, конечно, не атеисты. Не атеисты и те, кто осуждал языческие предрассудки. Наоборот. Они с помощью науки шли к истинному богу, так как «человек по естеству познать бога способность имеет, если токмо внятно и прилежно о том помыслит». В понимании Татищева, все крупнейшие мыслители своими достижениями способствовали «познанию бога», поскольку бог и воплощается в истине. «Те, — говорит Татищев, — которые наивящие о боге учили, тех неразумные не токмо афеистами называли, но и смертью казнили, как то читаем: Епикур за то, что поклонение идолом и на них надежду отвергал и сотворение света не тем богом, которым протчие приписывали, но невидимой силе, или разумной причине присвоил, ...от стоиков многими неистовствы оклеветан, якобы тварь самобытну учил, и за то афеистом именован». Снова на равных началах выступают «невидимая сила» и «разумная причина», а божество, по существу, сливается с извечно существующей природой.

Сократ, по Татищеву, также выступает как бы предтечей христианства. Хотя он был «злочестиями и [196] безбожеством оклеветан и на смерть осужден, но потом не токмо от язычников за премудрейшето во всей Греции почтен, но и христианские учителя, яко Устин Мученик, тако и другии святии отцы его хвалили и о его спасении не сумневались». Иными словами, Сократ удовлетворяет тому идеалу, который христианство вкладывало в образы праведников.

Познанию истинного бога служат также рассуждения Платона и Аристотеля. Последнего обвиняли в атеизме и при жизни, и позднее римские папы. Но он был также «от многих учителей церковных, яко Тертуллиан, Иероним, Августин и проч.,

похвален». Сенека также «за учение благочестного жития пострадал и умерщвлен». В итоге лишь «невежды умных и ученых людей безбожниками, или афеистами, называли, оное наиболее от злости и сущего буйства и невежества происходило, да сему и дивиться не можно, ибо недостаток просвещения наибольшею того причиною был».

Ужаснее всего то, что христианство мало что изменило. «Видим бо высокого ума и науки людей невинно тем оклеветанных и проклятию пап преданных, как-то Вергилий епискуп за учение, что земля шаровидна, Коперникус за то, что написал: земля около солнца, а месяц около земли ходит... Пуфендорф за изъяснение естественного права». Все они сначала были прокляты и объявлены атеистами, но затем нехотя папы были вынуждены признать истинность их учений.

В изложении Татищева получалось так, что на пути к истинному богу вставала прежде всего папская власть, «Колико сот человек в Италии, Гишпании и Португалии, — говорит он, — чрез инквизицию каждогодно разоряют, мучат и умерщвляют токмо за то, что кто с папою не согласует или его законы и уставы человеческими, а не божескими имянует, а большая того причина властолюбие и сребролюбие папов». Недалеко ушла и православная церковь: «Не без сожаления довольно видимо было как-то Никон и его наследники над безумными раскольники свирепость свою исполняя, многия тысячи пожгли и порубили или из государства выгнали, которое вечнодостойная памяти Петр не именем, но делом и сущою славою в мире великий, пресек и не малую государству пользу учинил». Напоминание это было весьма кстати, поскольку с 30-х годов возобновилось самое свирепое преследование раскольников, и Татищев скоро будет [197] поставлен в трудное положение, поскольку от него будут требовать проведения этой политики в жизнь.

Известно, что раннее христианство было объективно революционным движением. По замечанию Ф. Энгельса, «христианство того времени... как небо от земли отличалось от позднейшей, зафиксированной в догматах мировой религии Никейского собора... В нем нет ни догматики, но этики позднейшего христианства; но зато... есть радость борьбы и уверенность в победе» {Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 22, с. 478.}. Идеалы раннего христианства неоднократно всплывали в самых революционных движениях позднего средневековья. Татищев также положительный вклад отмечает лишь у раннего христианства. Оно воздействовало прежде всего на нравственную сферу, проповедуя любовь к ближнему и предостерегая от сребролюбия, роскоши и лени — от всего того, из чего «все протчие пристрастия и вреды происходят». Однако из-за пренебрежения наукой учение Христа и его апостолов не смогло утвердиться.

Задолго до христианства греки «во всех науках цвели». Затем и в Риме «науки... процветать стали». Христиане же не сумели сохранить достигнутое. Начались распри, и истинное учение было отринуте. «От распрей в христианах, - с сожалением замечает Татищев, — науки стали оскудевать, что едва не повсюду науки нужные человеку погибли». Вопреки истинному христианству «духовные великую власть и богатства приобрели». Властолюбие и сребролюбие повело духовников далеко в сторону от истинного учения. Римские архиепископы пожгли «многие древние и полезные книги», исправляли и искажали другие сочинения. В результате «философские благополезные науки в совершенное падение пришли, для которого оное время ученые время мрачное именуют».

Таким образом, христианство, по Татищеву, лишь эпизод в познании нравственной стороны идеи бога. Познание же божества в целом достигается наукой. Поэтому важнейшим рубежом в развитии человечества он признает книгопечатание. Появилась возможность широко распространять разумные мысли, книги стали доступными и «крестьянину или убогому человеку». Ранее кто-то из «завидливых» мог держать рукописи в одних руках, лишая других возможности с ними ознакомиться.

Нередко их портили «от имеющих противное мнение переправками». [198] Книгопечатание делает книгу практически неистребимой. Оно позволяет создавать нужное число учебных заведений, через которые открывается «большой свет истинного разума». Преодолевая сопротивление папистов, наука завоевывает все новые позиции. Виклеф и Гус, затем Лютер и Кальвин нанесли серьезный урон папскому престолу в богословии, Гуго Гроций и Пуфендорф «в нравоучении». Картезий в физике «или всей философии», Коперник и Галилей в математике и астрономии. «Тиснение книг, — заключает Татищев, — великий свет миру открыло и неописанную пользу приносит».

Голландский мыслитель Гуго Гроций (1583—1645) наряду с Гоббсом, по выражению Маркса, «стали рассматривать государство человеческими глазами и выводить его естественные законы из разума и опыта, а не из теологии» {Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 1, с. 111. 198}. Татищев стремится прикрыть от критики со стороны клерикалов передовые теории соображениями о том, что богоугодным является все, открывающее истину. С законом божьим в конечном счете будет согласовываться лишь то, что соответствует естественным законам. «Истинная философия в вере не токмо полезна, но и нужна», — заключает Татищев. Запрещают же языческие книги либо невежды, не понимающие истинной философии, либо «злоковарные некоторые церковнослужители». Именно они «для утверждения их богопротивной власти и приобретения богатств вымыслили, чтобы народ был неученый... но слепо бы и раболепно их рассказам и повелениям верили».

Церковники в знаниях видели источник ересей. Татищев же полагает, что большинство ересей происходит от невежества. Поэтому и бороться с ними надо путем просвещения. Он напоминает о рекомендации Петра I учредить училища «во всех епархиях», что позволило бы на пользу «бесплодно погибаемые доходы монастырей употребить». Кто-то из собеседников Татищева заверял, что эта рекомендация выполняется. Но он, со своей стороны, таких училищ нигде не видел, и, лишь «взирая на их должность и любовь к богу и ближнему», верит, «что правда есть или быть может».

Власти предержащие обычно считали, что «чем народ простее, тем покорнее и к правлению способнее, а от бунтов и сметений безопасней». Татищев решительно [199] осуждает такого рода «махиавелические плевелы» {Имеется в виду государственное учение Макиавелли (1469-1525)}. Сословное деление, в понимании Татищева, означает общественное разделение труда, а не богом установленный порядок. Преимущественное положение дворянства основано не на его «благородном происхождении», а потому, что оно выполняет самую важную роль в государстве. Со времен Рима выделяется слой воинов, которые затем в «мужестве и старости» служат также «в советах и правлениях гражданских». Шляхетство обязано «от самого возраста до старости государю и государству, не щадя здоровья и живота своего, служить». За эту службу оно и получает право на владение вотчинами.

Во времена Татищева дворянство борется за освобождение от обязанностей, что и было достигнуто к 1762 году. Вместе с тем оно выступает против пополнения его рядов за счет выходцев из социальных низов. По логике Татищева, «увольнение» от службы лишало дворянство права на преимущества. Не может он разделить и стремление дворян к совершенному обособлению своего сословия. Когда-то обязанность «государство защищать и оборонять» распространялась на весь народ. Затем «гражданство, купечество и земледельство за нужное и полезное в государствах приято» и дело защиты государства перешло в руки одного сословия. В зависимости от потребностей слой этот необходимо расширять за счет других сословий. Это делал в свое время Алексей Михайлович. Это делал Петр I. Поскольку же «на благоразсудности одного солдата целой армии благополучие или безопасность зависит», нужно, чтобы «салдаты были благоразсудные» и «чтобы всякой салдат о том

мыслил и прилежал, чтоб в обер и штап офицеры дослужиться». Путь к этому опять-таки лежал через обучение, «понеже неумеющему грамоте к получению оного путь пресечен, следственно же желание и снискание оного пресекается».

Татищев убежден, что порядок зависит от уровня просвещения народа. «Махеовелисту» он советует набрать слуг из дураков, а управляющих — из безграмотных, дабы понять, «какой порядок и польза в его доме явятся». Со своей стороны, Татищев «рад и крестьян иметь умных и ученых».

Причиной внутренних распри и возмущений Татищев [200] считает невежество народа, что дает простор для разного рода плутов. Он признает, что «все смятения народные и разорение государств междоусобные суть наитяжчайшие беды и свирепейший губитель, нежели внешний неприятель». Но предотвратить такого рода внутренние раздоры способны лишь просвещение и разумное законодательство.

Чрезвычайно смело ставит Татищев вопрос о сосуществовании в рамках государства различных религий и верований. Его собеседник как будто резонно ставит вопрос о том, что «разность вер в государстве вред наносит». Татищев также замечает, что «некоторые политики... толкуют, якобы государство, монархия от разности вер небезопасна». На этом основании они «невзирая на запрещение в письме святом, силою в соединение приводить не согласных с ними, мучить и кознить или изгонять... за благочестие и благослужение поставляют».

Татищев также признает наличие опасности от различия вер, особенно там, где противоборствуют две равные по силе веры, как, например, в Германии - протестантство и католичество. «Но ежели где три или более разных вер, тамо такой опасности нет», — полагает Татищев. Главное же — предупредить распри «добрыми законы». Сами эти распри обычно разжигаются попами «для их корысти», а также «суеверными ханжами и несмысленными набожниками». Между умными же людьми такие распри невозможны, «понеже умному до веры другого ничего касается, и ему равно, лютор ли, кальвин ли, или язычник с ним в одном городе живет, или с ним торгуется, ибо не смотрит на веру, но смотрит на его товар, на его поступки и нрав, и по тому с ним обхождение имеет».

Комментируя приведенное высказывание, Г.В. Плеханов восклицает: «Это хоть бы и Вольтеру впору!» {Плеханов Г.В. Соч., т. XXI. М.-Л., 1925, с. 62. 200}. Плеханов видит в данном случае влияние Пьера Бейли (1647— 1706) — одного из самых энергичных поборников веротерпимости. Действительно, с творчеством Бейли, как и практически со всеми важными идеями своего времени, Татищев был знаком. Но согласиться с Бейли для него было едва ли не опаснее, чем самостоятельно высказать аналогичную точку зрения. Будучи профессором философии, Бейли подвергался преследованиям и во Франции, [201] и в Голландии (он был лишен кафедры в Роттердамском университете). И неудивительно: Бейли и в атеистах готов был видеть высоко нравственных людей.

В наибольшей безопасности, по мнению Татищева, находятся как раз те государства, где царит веротерпимость. Такое положение наблюдается прежде всего «во общенародных или смешанных правлениях». Из монархий к ним же Татищев относит Россию, поскольку «наша Россия не токмо разных исповеданий христиан, но магометан и язычников многим числом наполнена». Многовековая история России, по убеждению Татищева, свидетельствует о том, что различные веры никакого ущерба стране не приносили. Напротив, в Смутное время «нагайские, касимовские и другие татары, а при Разине черемиса многую противу бунтовщиков услугу показали». Выступления же разных народностей против правительства обычно носят не религиозный, а политический характер.

Принцип веротерпимости не нарушается и негативным отношением к еврейской общине и цыганам. В России, говорит Татищев, «едины жида от Владимира II (то есть Мономаха) до днесь не терпят, но и те не для веры, но паче

для их злой природы, обманов и коварств, чрез которых многие разорения тайно христианам прилучаются, как и цыганов не для веры в государстве терпеть не безвредно». Татищеву были известны какие-то источники, говорившие о выселении евреев постановлением князей при Владимире Мономахе (в «Духовной» и некоторых других записках называется 1124 год). В известных нам сейчас летописях есть лишь глухие намеки на это в рассказе о восстании киевлян в 1113 году, когда горожане «идоша на жида», а также в упоминании о большом киевском пожаре 1124 года, когда «погореша... жидове». В «Истории» Татищев обстоятельно рассказывает о киевском восстании и требовании киевлян о выселении иудеев. Сам Татищев при этом считал, что речь идет не об особом народе, а о славянах, принявших через посредство Хазарии иудейскую веру. Противоречия в данном случае вызываются тем, что Татищев так и не смог для себя решить, где же первопричина зла: «в природе» народа или же веровании, названном позднее Марксом религией «своекорыстия» и «эгоизма» {Маркс К., Энгельс Ф., Соч., т. 1, с. 410—413}.

Задача обмирщения просматривается и в татищевской [202] классификации наук. Помимо общепринятого деления наук на богословские и философские, он предлагает «моральное» разделение, различия «в качестве». Согласно принципу полезности выделяются науки: «1) нужные, 2) полезные, 3) щегольские, или увеселяющие, 4) любопытные, или тщетные, 5) вредительные». В числе «нужных» на первом месте стоят «телесные науки». Поскольку природа требует от человека поддержания собственного существования, необходимы соответствующие знания: «сие именуется домоводство», то есть по-гречески «экономия». Той же цели служит медицина.

Человек должен уметь «себя от враждующих и нападствующих сохранить и обидеть себя не допустить». Для этого обязан каждый, а дворянин в особенности, уметь владеть оружием, чтобы защитить себя и отечество. Однако этого недостаточно. Многие неприятности происходят по вине самого человека. Поэтому он должен уметь себя вести, с тем чтобы не вызвать справедливого негодования со стороны других. Об этом говорится «в правилах закона естественного», «и сие называется нравоучение». В рамках государства «собственные обороны или отмщения для общего спокойствия запрещены и обидителям наказания, а обиженным награждения предписаны». Поэтому необходимо знать законы и изучающую их науку — «законоучение».

В число нужных наук включается и богословие. Татищев имеет в виду то, что человек в состоянии постичь бога и его учение. «Что же касается свойств или обстоятельств божиих, — полагает он, — то наш ум не в состоянии о том внятно разуметь, да и нужды нет». Иными словами, схоластические споры о природе самого божества представляются беспредметными и бессмысленными. Достаточно веры, что бог — создатель мира и во всем присутствует. В качестве же первотолчка Татищев бога, безусловно, признавал.

В числе полезных наук, по Татищеву, «письмо есть первое, чрез которое мы прошедшее знаем и в памяти храним», иногда даже лучше, чем сами творцы «прошедшего», поскольку «мнение» может быть изложено на письме. Гражданским служащим, особенно «в чинах высоких», «полезно, а иногда нужно знать красноречие», именуемое по-русски «витийством», а по-гречески «риторикой». Нужно уметь придать речи в зависимости от обстоятельств тот или иной оттенок, украсить ее [203] примерами. Особенно полезно и нужно все это в иностранных делах, а также при сочинении книг.

К «полезным» относится и знание иностранных языков. Татищев предупреждает, однако, что «сие полезно тогда токмо, когда правильно употребляемо». «Примешивание» же «иноязычных слов в свой язык вредительно». Татищева особенно раздражает модное в его время засорение русского языка иностранными словами, «да к тому не в той силе и разуме или неправильно, а для чего, того сами сказать не умеют, кроме хвастанья, что умеют чужое слово выговорить».

«Всякого звания людям» полезна «мафематика», включавшая в то время целый ряд наук: арифметику, геометрию, «или землемерие», механику — «хитродвижность», архитектуру «строительство». К математике относились также «перспектива, оптика или видение, акустика -- звездосчисление», изучение которых Татищев находил полезным «некоторым людям».

Государственным деятелям высших рангов важно учить «деяния и летописи или история и хронография, генеалогия или родословие владетелей... землеописание или география». В последнюю Татищев включал и «нравы людей», проживавших в той или иной земле. Все это нужно знать, «дабы в государственном правлении и советах, будучи о всем со благоразумием, а не яко слепой о красках разсуждать мог».

В числе полезных наук называются также ботаника и анатомия. Знание их желательно для всех и совершенно необходимо для тех, кто «себя во врачество управляют». То же относится к физике, химии, или, по-русски, «естествоиспытанию». Зная, «что из чего состоит» и «что из того происходит и приключается», можно уберечь «себя от вреда».

К «щегольским» наукам Татищев относит умение слагать стихи, сочинять или исполнять музыку, танцевать, ездить верхом, рисовать и чертить. Последнее совершенно необходимо во всех ремеслах. Что касается остальных — они могут быть полезны «по случаю», поскольку за ними стоят правила поведения человека в обществе.

К «любопытным» и «тщетным» Татищев относит такие науки, «которые ни настоящей, ни будущей пользы в себе не имеют». Это астрология — «звездопровещение», «физиогномия, или лицезнание», «хиромантия — рукознание». Эти науки, по Татищеву, «ни физического, ни [204] мафематического основания не имеют». Но у суеверных людей, «паче у людей меланхоличных», они находят благоприятную почву. Лженауки наносят и вред, «ибо если бы мы совершенно все приключения, предписанные и неизбежные, разумели, тоб не имели нужды жить по закону». Этой фразой заодно осуждается и вера в божественное провидение,

Суевериями был наполнен быт всех европейских стран. Анна Ивановна уже в 1730 году издала указ о сожжении за колдовство. Несколько раньше так же энергично боролся с «ведьмами» во Франции кардинал Мазарини. До конца XVIII века сжигали «ведьм» в Польше. «Не весьма в давних летах» все это Татищев наблюдал и в Германии и в Швеции. Он, естественно, был против таких мер и подчеркивает, что как только «перестали казнить, а учением исправляют, то и таких людей умалилось».

Разновидностью суеверий Татищев считает и организуемые «сребролюбивыми церковниками» чудеса святых. Это «зло» в России «весьма было расплодилось». Но «Петр Великий жестокими на теле наказаниями всех оных бесов повыгнал так, — иронизирует Татищев, — что ныне, почитай, уже не слышно».

Целое исследование Татищев посвящает истории славянской письменности. Создание глаголического письма он на основе балканских преданий и папистской традиции связывает с именем Геронима, относя его к 383 году. Эта письменность во времена Татищева еще употреблялась в Иллирии. Кириллицу согласно с общепринятыми представлениями Татищев признавал созданием Константина-Кирилла в IX веке. Современный алфавит Татищев предлагал усовершенствовать, исключив из него буквы, не имевшие особого звучания (позднее, в письме Тредиаковскому, он относил к таковым пятнадцать букв из сорока четырех). Вместе с тем предлагалось ввести букву для аналогии с латинским «Н» и для обозначения йотированного гласного (последнее было позднее осуществлено Карамзиным).

Происхождение языков во времена Татищева объясняли вавилонским столпотворением, Татищев библейскую легенду обходит. «Сколько и которые языки первые по столпотворению были, - говорит он, - оное не токмо ныне, через неколико 1000 лет и за погубленном древних книг, нам подлинно неизвестно». Это не было

известно и [205] раньше. Так, Геродот «скажет, что в древние времена у египтян мнение о первенстве народа было, которое языками решили». Важнее, с точки зрения Татищева, общее заключение, «что из одного многие разные языки произошли». От одного языка происходят и все славянские народы, а также вандалы, которых он помещал по южному берегу Балтики (венды, винды или вандалы германских источников). Изменения в языке чаще всего происходят в результате обладания одного народа другим. Сказывается также общение с соседями, потребность в заимствовании слов для обозначения тех или иных понятий и просто «от неразумения пользы и вреда» или по невежеству.

В качестве примера Татищев дает здесь первую свою схему сложения Древнерусского государства. Славяне приходят морем из Вандалии, то есть с южного берега Балтики, в северо-западные районы будущей Руси. Они овладевают сарматскими народами, в числе которых были и руссы. На «сарматском» языке это слово означало «чермный», то есть «красный» (в действительности, такое значение слово «рус» имеет в индоевропейских языках). Славяне и сами прозвались руссами, и много из языка сарматских руссов взяли в свой язык. Позднее, «как колено славянских князей Гостомыслом пресеклось, взяли себе князя Рюрика от варяг, или финов». Восстановление славянского языка Татищев связывает с Ольгой, бывшей «от рода князей словенских». Остатки же привнесений сказываются в языке и позднее. К ним добавились заимствования из татарского языка.

Заимствование из чужих языков «по соседству и обхождению» Татищев отличает от нарочитой порчи родной речи. Если вандалы, богемы, чехи, венгры утеряли славянский язык под влиянием народа-обладателя, то современные поляки портили его из «славолюбия», в результате чего «иногда в письме латинских и немецких слов треть кладут». Сходное положение складывалось и в России. Татищев приводит длинный перечень слов, заимствованных в русский язык «без нужды» из греческого, латинского, французского, немецкого, «каковых слов от хвастунов и неученых людей весьма много наполнено». В этом списке — наиболее употребительные понятия бюрократического обихода, то есть все то, что широкой волной устремилось в русский язык вместе с петровскими преобразованиями. В условиях же бироновщины, когда многие высшие чины и не хотели знать русского языка, [206] борьба за его чистоту принимала глубокую политическую окраску.

Татищев отнюдь не был сторонником полного ограждения языка от заимствований извне. Наоборот. Он считал, что такие заимствования полезны и необходимы, если они поступают с «науками философскими и вещьми». Но новое слово целесообразно вводить в свой язык лишь в том случае, если ему нельзя найти равного по значению в собственном. В противном случае это и есть засорение. Татищев упоминает о намерении Анны созвать специальную комиссию по «исправлению русского языка» (очевидно, нечто подобное она обещала в одной из бесед с Татищевым и, конечно, по его настоянию). Уже с Урала он продолжал поддерживать связь с Василием Кирилловичем Тредиаковским (1703—1769) — его единомышленником в этом вопросе. В 1736 году комиссия была создана. Но вопреки намерениям Татищева и Тредиаковского в составе ее были почти исключительно немцы, и занималась она вопросами переводов с иностранных языков на русский. Безвременье бироновщины было явно неподходящей порой для воплощения замысла поборников чистоты русского языка.

Согласно воззрениям Татищева естественному закону в равной мере подчиняются все народы, и все они равны перед этим законом. От естественного закона зависит целесообразность той или иной политической системы, и этот вопрос Татищев излагает в «Разговоре» в целом так же, как в записке 1730 года. Но здесь поднимается еще один вопрос, не менее важный, чем форма политического устройства. Речь идет о личной вольности человека.

Естественный закон предполагает вольность человека. «Воля по естеству человеку толико нужна и полезна, что ни едино благополучие ей сравниться не может и ничто ей достойно есть», — говорит Татищев. «Кто воли лишаем, тот купно всех благополучей лишается или приобрести и сохранить не благонадежен, ибо кто в какой-либо неволе состоит, той не может уже по своему хотению покоиться, веселиться, чести, имения снискивать и оные содержать, но все остается в воли того, кто над его волею владычествует». Но воля полезна лишь в том случае, если она употребляется с разумом. Иначе это будет своеволие. Для младенца воля может оказаться источником гибели, и те, кто по лености или недостатку милосердия это допустит, могут оказаться соучастниками трагедии. [207] Поскольку человек не может обойтись без помощи других, он вынужден ограничивать себя. В итоге «воле человека положена узда неволи для его же пользы». Эта «узда» бывает трех видов: «по природе», «по своей воле», «по принуждению». Первая предполагает подчинение младенцев родителям. К этому же разряду Татищев относит и власть монарха. Второй вид неволи связан с договором. Из него происходит неволя холопа или слуги. Такой договор справедлив лишь в том случае, если он выполняется обеими сторонами. «Если б один нарушил, — разъясняет Татищев, — то и другой или не должен своего обещания содержать, или его по имеющему договору может ко исполнению принудить».

Таково же происхождение и общественного договора. На этом принципе построены «общенародия или республики». В них «воля человека всем обще подвергается, общее благополучие собственному предпочитается, того ради, что собственное уже несть благополучие, когда общественный вред из чего быть может».

Третий вид неволи — «рабство или невольничество» — противоестествен. «Понеже человек по естеству в защищении и охранении себя имеет свободу, того ради он такое лишение своей воли терпеть более не должен, как до возможного к освобождению случая». Естественное право человека — защищать свое благополучие и мстить свои обиды. Единственное, что может сдерживать угнетенного, — соображение целесообразности, дабы не причинить себе большего ущерба.

Постановка вопроса о личной свободе, «вольности» человека, оправдание и даже поощрение борьбы угнетенных за свое освобождение, — явление для первой половины XVIII века в России уникальное. Не случайно Г. В. Плеханов оценил его «почти как революционный призыв» {Плеханов Г. В. Соч., т. XXI, с. 70}. Вряд ли Татищев верил в целесообразность и еще одного вида неволи: подчинения воле монарха как родительской. Но это постоянно встававшее противоречие он пока старался обходить, поскольку логичное разрешение его потребовало бы таких выводов, которые могли бы оказаться для Татищева самоубийственными.

Закон естественный должен лежать и в основании гражданского законодательства. В этом разделе у Татищева также появляются некоторые новые соображения [208] по сравнению с запиской 1730 года. Так, рассматривая разные источники законодательства в странах с различным строем, он останавливает внимание на порядке подготовки законопроектов в государствах с «общенародной» формой правления. Вопреки собственному рассуждению о целесообразности таких государств лишь на небольших территориях он рассматривает именно «великие». Выборные «от неких обществ, яко провинций или городов, станов, родов» посылаются «с полной мочью» в соборы, сеймы или парламенты, которые и разрабатывают законопроекты.

Законодательные права монарха снова вызывают у Татищева затруднения. Он такие права за монархом признает. Но «от любви отеческой к подданным, храня пользу оных», монархи доверяют составление законов «другим в законах довольно искусным и отечеству беспристрастно верным». Любовь монарха к отечеству, следовательно, проявляется в том, что подготовку законопроекта он передоверяет

лицам, искусным в законах. А уж искусному законнику Татищев считает себя вправе подать советы. И в них также проявляется кое-что новое по сравнению с 1730 годом.

Первый совет сводится к тому, что закон должен быть написан таким языком, «которым большая часть общенародия говорит и суще самым просторечием». Особенно следит Татищев за тем, «чтоб никаких иноязычных слов не было». При этом «всякий закон что короче, то внятнее». Второй совет предусматривает выполнимость законов. В противном случае они не будут пользоваться авторитетом. «Неумеренные казни разрушают закон», — заключает Татищев. Законы должны быть согласованы друг с другом — третье положение, и весьма важное, поскольку в России такой согласованности не было со времен «Русской правды»: новые установления не отменяли старых. Четвертое положение касается своевременного и широкого объявления законов, «ибо кто, не зная закона, преступит, тот по закону оному осужден быть не может».

Интересно пятое положение: «хранить обычаи древние». Татищев при этом разъясняет, что «где польза общая требует, то не нужно на древность и обычаи смотреть, токмо при том надобно, чтоб причины понуждающие внятно изъяснены были». Видимо, совет связан с каким-то определенным нарушением обычаев. С такого [209] рода нарушениями постоянно приходилось сталкиваться во времена бироновщины. Татищев напоминает также и о сравнительно давнем, весьма опасном нарушении традиции. «До царства Борисова, — говорит он, — в России крестьянство было все вольное, но он слуг, холопей и крестьян сделал крепостными». Это нарушение «древних обычаев» вызвало восстание холопов и крестьян. Кому в этом случае Татищев сочувствует — угадать нетрудно. Царь нарушил обычай, а бывшие вольные по естественному праву выступили на защиту своей свободы.

Советы законодателям Татищев дает не случайно. Он считает целесообразным подготовить новое Уложение и доказывает это разбором предшествующего русского законодательства. Наиболее продуманным ему представляется Судебник Ивана Грозного, утвержденный собором 1550 года. «В сем Судебнике, — говорит он, — удивления и похвалы достойно, что законы писаны кратки, вняты, речение самое простое, как тогда говорили. И хотя во оном нечто от чужестранных взято... но ни единого слова чужестранного не внесено». Уложение 1649 года менее удовлетворительно. «Как видно, при сочинении надмерно спешили или к сложению искусного секретаря недоставало», — размышляет Татищев. В результате же «некоторые случаи разного состояния в разных главах или статьях разногласны, другие надмерно кратки и темны так, что с трудом сущую силу их разуместь можно, иные потребным многоречием наполнены». Нечеткость изложения создает почву для нарушений и злоупотреблений со стороны судей. К тому же многие статьи Уложения устарели, и есть необходимость ввести целый ряд новых статей. По обыкновению, Татищев напоминает о соответствующем замысле Петра. В связь с этим замыслом он ставит и изучение законодательства других стран. Наперед выдается похвала за подобную же деятельность и правящей императрице, с которой Татищев, видимо, говорил и об этом вопросе, и, очевидно, так же малоуспешно, как и по многим другим.

Хотя «Разговор» посвящался защите «наук и училищ», последним уделено сравнительно мало внимания, возможно, потому, что тогда же Татищев давал об этом императрице особое представление. С сожалением отмечал он, что ни в одном училище не преподавались русская грамматика, история и география. Большинство учителей были иноземными, и это Татищев считал неизбежным. Но [210] многие «учителя» сами не имели никакой подготовки. Дворяне часто для обучения языкам нанимали «весьма неспособных и случается, что поваров, лакеев или весьма мало умеющих грамоте». Особенно удручало Татищева отсутствие учебников. Возможность решения этого вопроса

он видел лишь в распространении вольного книгопечатания.

Сословное деление общества предполагало и сословное обучение: каждое сословие должно учиться наукам, необходимым для выполнения своего долга перед государством. Но Татищев не может не заметить, что дворяне учиться ленятся. Сложными науками скорее овладевают «подлые», которым доступ к высшим должностям закрыт. Это обстоятельство ставит перед ним проблему, которую он не может разрешить. Татищеву не нравится, что половина всех отпускаемых на обучение средств уходит на Кадетский корпус. Он считает, что дети родителей, имеющих доход свыше тысячи рублей в год, могут и сами содержать учителей или выделять средства на обучение. Государственные же средства следует «неимущим оставить». Полезно совместное обучение «знатных и неимущих». Рядом со знатными неимущие научатся «обхождению» и приобретут «смелость». Учеников же из «убожества» Татищев советует включать в низшие шляхетские училища. Их присутствие поможет поднять на должный уровень все обучение, а сами они смогут впоследствии стать «совершенными учителями». Другого применения специалистам из третьего сословия, получившим дворянское образование, он предложить, очевидно, не может.

Подготовка собственных учителей, с точки зрения Татищева, являлась самой первостепенной и настоятельной задачей. Пока же их нет, наилучшим способом обучения остается посылка детей за границу. Татищев дает широкий обзор состояния наук в разных европейских странах, рассказывает об их учебных заведениях. Издержки неизбежны и при посылке детей за границу, особенно если туда едут слишком хорошо обеспеченные. Но, не слыша вокруг русской речи, недоросль поневоле обучится иностранному языку, что особенно необходимо при отсутствии специальной литературы на русском языке.

Борясь за чистоту русского языка, Татищев неизменно настаивал на самом широком изучении языков иностранных. В этом он видел один из самых важных элементов общей культуры и образованности. Большое [211] значение он придавал также изучению языков народов России, а также созданию школ, где представители этих народов могли бы изучать русский язык. Он с возмущением говорил о миссионерах, которые через переводчиков проповедуют «слово божие». Татищев выражал надежду на то, что не было бы никаких беспорядков и бунтов, «когда бы шляхетство обученные во оных языках воеводами, судиями и другими управители были». Соответственно он предлагал открыть училища в Казани, Тобольске, Астрахани, Иркутске, Нерчинске, Якутске для изучения «сарматских» (угро-финских), тюркских и сибирских языков.

«Разговор» был впервые опубликован лишь в 1887 году. Да и то, издавая его, известный биограф Татищева Нил Попов счел необходимым оправдывать автора от обвинений в вольнодумстве. Оправдание, нужно сказать, натянутое. Но и его тоже можно было понять. Даже сто пятьдесят лет спустя «Разговор» звучал все еще слишком смело для официального миропонимания. И можно лишь пожалеть, что столь богатый идеями памятник остался недоступным большинству русских мыслителей XVIII века.

С «Разговором» несколько разноречит «Духовная» Татищева. Как и к «Разговору», он обращался к ней, видимо, неоднократно и примерно при одинаковых обстоятельствах. «Разговор» проникнут оптимизмом, «Духовная» — пессимистична. В «Разговоре» Татищев размышляет о том, что желательно было бы сделать, в «Духовной» предостерегает от того, чего делать не следует.

Первоначальная редакция «Духовной» относится, видимо, к началу 1734 года, когда над Татищевым собрались грозные тучи. Татищев стремится здесь очиститься от обвинений в атеизме и еретичестве, предстать ортодоксальным и усердным христианином. «Человек во младости и благополучии, — говорит он здесь, — мало о законе божий и спасении души своя прилежит, но водим паче помыслами плотскими». «Егда же человек приблизится к старости, или скорби, болезни, беды, напасти и другие горести усмиряют плоть его, тогда освобождается дух от порабощения, очистится ум его и примет власть над волею, тогда познает неистовство и пороки юности своя и начнет прилежать о

приобретении истинного добра, еже познать волю творца своего и прилежать о знании закона божия». [212]

В 1734 году Татищеву было сорок восемь лет. Он, конечно, был еще не стар. Но, как он сам поясняет, старость «не по числу лет разумеется». «Болезни, беды и печали прежде лет состаревает». А бед и печалей в конце 1733 года на Татищева обрушилось немало. Обострилась и его старая болезнь, в результате чего «язык... прилипе гортани».

Главная причина духовного надлома Татищева, конечно, заключалась в крахе его общественно-государственной деятельности, в результате чего он оказался в «гонении неповинном» «от злодеев сильных». Отстранение его от должности главного судьи Монетной конторы и предание суду лишало его, помимо прочего, и средств существования.

Ко времени написания «Духовной» дочь Василия Никитича Евпраксия была замужем за Михаилом Андреевичем Римским-Корсаковым. (Позднее, овдовев, она вышла замуж за Степана Андреевича Шепелева.) «Духовная» адресовалась сыну Евграфу. Будучи в Монетной конторе, Татищев имел больше, чем когда бы то ни было, времени и для занятий домашними делами. Сын его в 1731 году поступил в Кадетский корпус, имея определенные познания в арифметике и геометрии, зная немецкий и латинский языки. В 1734 году Евграф еще продолжал обучение в Кадетском корпусе, и ему еще предстояло определение на службу.

Несколько странно звучит в «Духовной» предостережение Татищева: «с хвалящими вольности других государств и ищущими власть монарха уменьшить никогда не согласуй». Кто эти хвалящие? Из известных нам авторов никто не хвалил «вольности других государств» в такой мере, в какой это сделал Татищев, поставив «вольность» главной ценностью для человека. И сына ли имел адресатом в данном случае Татищев, или же тех, кто обвинил его в вольнодумстве?

С отмеченным наставлением плохо согласуется общая оценка положения при дворе. Петр Великий, пишет Татищев, «великолепие единственно делами своими показывал». Нетрудно догадаться, в чей адрес направлена критика: Анна великолепие поддерживала только внешне. При ней придворные «рангами, жалованьем и другими преимуществы пожалованы». «Я,— обращается Татищев к сыну,— взирая на их стропотное житие и обхождение, никогда бы тебе оного искать не советовал, понеже тут [213] лицемерство, коварство, лесть, зависть и ненависть едва ли не всем ли добродетелям предходят».

В полном противоречии с собственной деятельностью напоминает Татищев и совет своего родителя, данный в 1704 году: «Ни на что самому не называться». Такая забота о самосохранении, может быть, и годилась для его ничем не примечательного сына, но она была решительно неприемлема для одного из самых неугомонных политических, хозяйственных и научных деятелей эпохи, каким был сам Василий Никитич. О совете отца он вспоминал обычно тогда, когда его покидали силы или возможности для борьбы. Но он немедленно забывал о нем, как только вновь открывалось поле активной деятельности.

Татищев, очевидно, не надеялся воспрянуть ни морально, ни физически. Это состояние подавленности и надлома сказывается на всем построении «Духовной», в своеобразном покаянии и раскаянии за непочтение к религии. Если в критике религиозных и особенно церковных установлений, сказывавшихся в ряде записок Татищева, заметна глубокая продуманность, то в данном случае ощущается чисто эмоциональный экстаз. Он заставляет сына принимать то, что сам принять не может. Он, например, советует читать жития святых, «ибо хотя в них многия гистории в истине бытия оскудевают... однакож тем не огорчайся, но разумеи, что все оное к благоугодному наставлению предписано, и тщися подражати делам их благим». Иначе говоря, хотя в этих сочинениях заведомая ложь, старайся подражать тому, чего

никто не делал. Мысль эта гораздо резче выражена в «Истории» («Басни правость потемняют»), хотя новгородский архиепископ Амвросий и настоял на некоторых сокращениях, дабы Татищев сведения житий «не весьма порочил».

Подобен же и совет: «если бы ты... некоторые погрешности и неисправы, или излишки в своей церкви быть возомнил, никогда явно ни для какого телесного благополучия от своей церкви не отставай и веры не переменяй». Не следует также вступать в споры с единоверцами. Это может принести неприятности, «в чем,— признается Татищев, -- я тебе себя в пример представляю». Оказывается, он «не токмо за еретика, но и за безбожника почитан и немало невинного поношения и бед претерпел». Очевидно, оценивая действительные взгляды Татищева, нельзя отвлекаться от этих «бед»: он никогда не мог быть до конца откровенен — его не поняли бы даже близкие. [214]

Определяя сыну круг наук, Татищев особо останавливается на своем многолетнем труде — «Истории российской». Она к этому времени была уже «довольной», «хотя не в совершенном порядке». Уже были примечания к ней, «дополнки», выписки из иностранных авторов. Отцу очень хотелось, чтобы это дело завершил его сын: «Если охота будет, можешь в порядок собрать и как себе, так и всему отечеству в пользу употребить». «Польза отечества» в данном случае не пересекалась с волей сильных мира сего, и Татищев как бы забывал о совете «не выдаваться вперед». К счастью, он сам смог позднее продолжить работу над «Историей». Сын же к этому явно не имел склонности.

Имелся в бумагах Татищева и развернутый план написания географии. Однако эту работу он не считал возможным завершить «без помощи государя», поскольку требовалась организация картографических работ в масштабе всей страны, а также осуществление размежевания земель.

Чувством христианского смирения и всепрощения проникнут ряд других советов Татищева. Он явно кается по случаю неудачно сложившихся семейных отношений, советует слушаться матери, с которой сам он «некоторым приключением разлучился, чрез что... обещание брачное нарушено». «Тебе,— обращается он к сыну,— нет в том ни мало причины к нарушению твоей должности». Такого же плана и совет не выказывать перед людьми ревность к будущей супруге, не унижать ее подозрениями, помнить, «что жена тебе не раба, но товарищ, помощница во всем и другом должна быть нелицемерным».

В «Духовной» неоднократно звучит и неуверенность, вроде: «Может ли сие полезно быть — сего я не разумею и рассуждать не могу». Даже только что написанный «Разговор», которым Татищев, несомненно, очень дорожил и который он оставлял как своеобразное наставление сыну же, он оценивает теперь сдержанно: «Все оное верить и за истину непоколебимую принимать и содержать не принуждаю». В «Духовной» совершенно исчезает «естественное право». Порою кажется, что автор испытывает суеверный страх перед открывшимися ему истинами и он теперь стремится отмолиться от них.

Духовные кризисы, однако, обычно способствуют и прояснению каких-то важных вопросов. (Правда, смысл их может оставаться и нераскрытым.) В данном случае [215] обращает на себя внимание одно немаловажное изменение по сравнению с «Разговором». Там он преимущества дворянства оправдывал его нелегкой долей — быть готовым проливать кровь за государя и отечество в любое время и любом месте. В «Духовной» же отмечается, что «гражданская услуга в государстве есть главная, ибо без доброго и порядочного внутреннего правления ничто в добром порядке содержимо быть не может и во оном гораздо более памяти, смысла и рассуждения, нежели в воинстве, потребно». Позднее это соображение Татищев неоднократно повторит, имея в виду, что и «гражданские» вопросы в государстве зависят от подготовленности дворянства. Но если бы он пропустил свое заключение

через призму «естественного права», то оно могло бы существенно нарушить логику рассуждений о целесообразности сословного деления, поскольку государственное правление совершенно иного характера занятие, нежели воинская служба, а бюрократический аппарат всегда составлялся более из разночинцев, чем из дворян (хотя и выполнял задачи дворянского государства).

Не раскрывает Татищев и тезис о «добром и порядочном правлении». Ясно, что современное ему правление не было ни «добрым», ни «порядочным». Но где искать альтернативу? Напоминание о временах Петра Великого было лишь приемом, поскольку Петру приписывалось обычно то, что хотел бы видеть Татищев. Через «естественное право» Татищев неотвратно шел к пониманию плодотворности гражданской вольности и выборной системы. Отправляясь от принципа монархии, которую нужно принимать как необходимое благо и неизбежное зло, он вынужден был отступать от «естественного закона» в пользу «божественного». Человеку деятельному нужен «естественный закон». Для пассивного — лучше закон «божественный». С его помощью легко оправдать и собственную бездеятельность, и логические неувязки в мировоззрении, и бессилие в борьбе со злом и его высокими носителями.

Трудно сказать, как развивалась бы моральная и физическая болезнь Татищева, если бы не поворот в настроении Анны. За внезапным падением Татищева последовало столь же неожиданное, хотя частичное и молчаливое, признание его заслуг и деловых качеств. Он отдаляется от двора, но получает весьма важное государственное поручение.